

Корреспондент
„Правды Востока“
у Сергея Юрского

„Я СТРАНЕН...“

„Я СТРАНЕН...“ — реплика Чацкого, сыгранного Юрским девять лет назад в Ленинградском Большом драматическом театре.

«Я странен...», — мог бы повторить вслед за героем актер.

Кто же будет сейчас вот так, открыто, вслух, трепетно и постоянно говорить о любви? Юрский играет любовь. Играл в Тузенбахе и Адаме из «Божественной комедии». А сейчас — в уродливом философе Эзопе с его отказом от не такой, как ожидалось и как выстрадалось, любви. И в профессоре Полежаеве, с трогательно непостаревшей любовью называющем в свои 75 лет жену-ровесницу «девочка моя!». Даже просто в одном слове есенинского «Письма к женщине», продленном, щемлящем, как неслышанное признание в любви — «Люби-ма-я!».

«Странность» Юрского — современного актера, мыслящего крупными категориями, аналитически, а не только эмоционально воспринимающего жизнь и искусство (дело тут не в одном юридическом образовании, полученном до театрального), — необычность Юрского в том, что в рациональный век первой его темой стала любовь, первой особенностью героев — человечность.

Другая грань «странности» Юрского связана с ролями стариков. Первый (Илико в грузинской комедии «Я, бабушка, Илико и Илларион») появился на свет, когда Юрскому не было еще 30. За характерной ролью Илико — король Генрих IV в шекспировской хронике. Возраст шекспировских героев часто грешит против истории: для Юрского и для режиссера Г. А. Товстоногова было важно, что их герой умирает не от старости, а от того, что кончилось его время в истории. Потом был старый Режиссер в польской философской драме «Два театра» — старость была еще одним, в числе прочих, обстоятельством его жизни, но не ею жизнь определялась. И вот — профессор Полежаев в «Беспокойной старости». И стало ясно: Юрский играет не приметы возраста, а его философию, философию Времени.

«Странность» Юрского проявилась в нем и чертой, которую он называет «умением не убеждать, а переубеждать». И переубеждает. Чацким — юношески влюбленным, ранимым и бескомпромиссным. Полежаевым — человеком сложным, отнюдь не бодрым (в повторение Черкасова), переживающим хотя и беспокойную, но — старость. Наполеоном в собственной постановке пьесы Шоу, идущей в концертах, — не только военным гением, но подверженным сомнению и страху человеком.

Есть «странность» и в Юрском, читающем на концертной эстраде пушкинских «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», «Мастера и Маргариту» Булгакова, Бернса, Есенина, Зощенко, Пастернака, Володина, вплоть до детских «Наивных стихов» Милна —

Маршака. В каждом случае — предельное проникновение в автора и соединение с ним. И с образностью Достоевского или Булгакова. И с разговорной простотой Володина. И со стихами Пастернака, когда ритм, рифма, каждое слово рождает в тихом, почти неподвижном голосе гипнотическое звучание Поэзии.

«Странность» отмечает и первые режиссерские работы Юрского. Он ставит великого автора парадоксов Шоу. Ставит с Натальей Теняковой володинскую пьесу для двоих «В сторону солнца», где герои — не влюбленные, как часто в пьесах-двухах, а отец и дочь. Это в концертах. Ставит на телевидении «Фиесту» Хемингуэя, где в каждой реплике и мизансцене живет накаленное предощущение взрыва.



Юрский — актер, чтец, режиссер. Юрский — собеседник: актер без актерства, для которого размышление и поглощенность окружающим — естественное и постоянное состояние. Отсюда — широта интересов и ассоциаций, тяга к людям, готовность к общению. Отсюда — разговоры: и с сотенными аудиториями, и с маленьким кругом близких друзей, и с увиденным впервые корреспондентом.

О планах:

— Планы главные — в своем, Большом драматическом театре. Играть Осипа в «Ревизоре», которого начинает ставить Г. Товстоногов. Ставить булгаковского «Мольера». Очень хочется поставить на телевидении детектив чешской писательницы Г. Пронковой «Месяц с трубкой». И еще — «выхожу в тираж»: записываю «Графа Нулина» на грампластинку. В кино — пока ничего.

О недавнем эксперименте:

— На телевидении готовится передача о Пушкине, где каждому из приглашенных актеров, режиссеров и других деятелей искусства дается семь минут — читать Пушкина, говорить о нем, кто что выберет. Я записывался одновременно с О. Ефремовым и Ю. Любимовым. Читал «Осень». В традиции ее чтения надоел элегический ритм, это стихотворение о творчестве, острое по мысли. Мысль потерялась, было, за напевом. Желтые листья лежат ковром — неверно. Бывает другая осень — сильный ветер несет вихрем те же листья. Это хотелось сделать. Я попробовал сначала в концер-

тах (даже в громадных залах) из всего освещения оставлять только свечку. Чтобы мысль не затемнять жестами, мимикой. Вот передача скоро выйдет...

Об отношении к творческим встречам со зрителями (в эту осень они были у Юрского особенно часты):

— Современный зритель очень интеллектуальный. Он не любит лишь смотреть искусство, он любит и говорить об искусстве. И с людьми, дорожащими искусством, я в последнее время полубил общаться более непосредственным образом, чем можно в театре и в концерте.

Об отношениях с партнерами:

— Партнер влияет на меня очень сильно. Кто-то сказал, что единомыслие — это думать не одинаково, а в одном направлении. В театре такие партнеры для меня — Н. Тенякова, М. Данилов, О. Басилашвили, В. Стрельчик. В кино — Ю. Яковлев, Л. Куравлев, З. Гердт.

О самой объемной на собственный взгляд роли:

— Самая подробная роль, то есть автором до деталей разработанная во всех поворотах человеческой мысли и чувства, — роль Виктора Франка в шедшем у нас спектакле А. Миллера «Цена». Но роль, в которой есть емкость, помимо заданного автором, — поэтому особенно важная для меня — Полежаев.

Когда Сергей Юрский писал стихи («не баловался, а просто был и такой способ выражения»), то в одном из них было о себе:

Моя смешная, как пауч,
И грустная, как осень,
Муза.

Богатство и масштаб человеческой и актерской индивидуальности — в странном сплаве лирики, сарказма и трагизма ролей Юрского.

Юрский ведет своих героев по сцене, по кино- и телеэкранам. Он недаром разделил подробность и объемность. Лаконизм и отточенность формы существуют для того, чтобы каждый раз, без суеты и торопливости сказать о человеческой любви и доброте. О силе доброго разума. Сказать, утверждая свое в герое или отрицая в нем же чуждое. Оставаясь в своей убежденности самим собой.

Т. РАБИНА.

Ленинград.

283